

В ТЕНИ ПРОХЛАДНЫХ ТИСОВ

Литературные записки

Вспоминаю поездку в Лазовский заповедник на семинар журналистов-экологов, когда шла пешком до автобуса по побережью заповедника. Большинство наших уже вышли в путь, а я задержалась. По берегу идти долго. Жарко и трещат цикады. Срезала по траве, по поляне, где растёт в основном осока, колючая сухая трава, а между ней сеется песок, пыль, забивающие кроссовки. Вид красивый: передо мной пара холмов, а на одном из них – как в каком-то черно-белом фильме с долгой дорогой – плавился на горячем воздухе высокий деревянный крест. На каждой перекладине и на макушке креста вертелось по ворону. Иссиня-черные, настоящие сказочные вороны. Когда я была уже близко, двое слетели, каркая, а один остался на кресте. Все происходило так медленно – эти цикады, карканье, негромкий шум моря... - что казалось неслучайным, почти символичным.

Только когда увидела туристов, которых с этого года стали в большом количестве пускать в заповедник, и одного из владивостокских журналистов, снимающего на свой фотоаппарат сушивших крылья бакланов, стало легче. Бакланы сидели на каменных выступах, недалеко от берега, и почти не двигались, грациозно позируя. Фотограф ловил моменты. Потом от камней, усыпавших побережье, стало рябить в глазах. Большое напряжение – прыгаешь с одного на другой и боишься промахнуться... Вокруг все рыжеет после отлива, а тут еще этот ржавый остов какого-то судна – несколько лет назад он был не таким разрушенным. Впрочем, это уже не так интересно. Когда подошли к автобусу, стало тоскливо. Я оглянулась. Море было тихим в последние дни. Ему было все равно. А мне – нет.

Молодой Чехов в отличие от Пушкина, в своих письмах многословен, иногда откровенно любит бойкость и легкость своего пера и, главное, компенсирует в письмах «табу» на лишнее слово в прозе, где он привык оставаться скупым на яркие фразы – отчасти по просьбе издателей, конечно. Потом привычка, навязанная журналистами, превратилась в художественный метод. Интересно, как он комментирует в письме Григоровичу решение писателя сделать рассказ о 17-летнем мальчике, покончившем жизнь самоубийством. Для Чехова это сложная задача с психологической точки зрения. Я вспомнила рассказ другого писателя: Бунин в «Митиной любви» замечательно описал и деревню, и мальчика, который застрелился. Это тоже заимствование бродячего сюжета (идущего, наверное, от Гете)?

Чем старше становится Чехов, – а в письмах, которые я читаю сейчас, ему 32 года, – тем короче и содержательнее он пишет своим родным и друзьям. Он уже не нравоучает, не любит своим умом и интеллигентностью, а просто описывает события и факты, которые могут показаться интересными его читателю.

Чехов чувствует себя старым в 32. Уставшим и равнодушным. День прошел, лег спать и – ладно. Вечные поиски заработка утомляли его, не давали покоя. То же самое мучило и Пушкина, когда он женился.

Письма Чехова – замечательный практикум для молодого писателя. Сколько раз мечталось мне о таком друге – умном, интеллигентном и любопытном до всего и всех.

Анекдот, привезенный местными художниками с зональной выставки в Хабаровске: выставочная комиссия смотрит картину с абстракцией. Так, смяв ее повернули, верхом, низом – не могут понять, как правильно ее смотреть. «Что это за картина такая, что ее не знаешь, как смотреть? - возмутилось жюри. - Кто автор?» - «Заслуженный художник России такой-то...» - ответили жюри. – «А-а! Заслуженный! Хорошая работа: и так, и смяв можно посмотреть. И верхом и низом – все хорошо!»

В Биробиджан приезжали писатели московские – акция «Литературный экспресс». В списке солидные люди: Геласимов, Волгин, Веллер, Варламов, Быков, Берсеньева, Бак и даже Ерофеев и Лукьяненко. Последние двое и Быков в Биробиджане не были. Я бы с удовольствием пообщалась к Быковым, которого уважаю за биографию Пастернака. А у Лукьяненко поинтересовалась бы, почему его книги так слабо написаны. Конечно, спрашивать о таких вещах нельзя, да я бы и не стала, но все равно окольно завести разговор на эти темы можно. Только вот они не приехали. Пришлось радоваться Геласимову и Волгину. Где можно достать книгу Волгина о Достоевском?

Интересно говорили о моде на документальный роман, который в последние годы вытеснил категорию вымысла из книг (не только из романов), о равнодушии к слову художественному, настоящему литературному слову. И еще - о том, как трудно продавать книги. Но ничего не сказано о возможности провинциальным авторам публиковать свои работы в толстых журналах, в «Литературной газете», о том, как участвовать в литературных конкурсах. Хотя этот вопрос так и витал в воздухе. Впрочем, снисходительность и равнодушие москвичей к нам, дальневосточникам, вообще отдельная тема для разговора... А фраза, оброненная кем-то с плохо скрываемым раздражением: «Только не дарите нам свои книги!» После этого трудно задавать вопросы и вообще вести диалог.

Ерофеев потом рассказывал об этой поездке в передаче «Апокриф» (канал «Культура»). Ему запомнилось биробиджанское ночное небо. Их вагон стоял на запасных путях. Писатели сидели и выпивали на рельсах и любовались звездами - большими, яркими, как это бывает в конце лета и в сентябре...

Читаю, как Пастернак переписывался с Цветаевой и Рильке. Все-таки Пастернак наивен: «Когда лучше приехать – сейчас или через год?» - деликатно, с трудом сдерживаемым восторгом, спрашивает он у Марины. Она молчит – не хочет «катастрофы». Он ей уже не интересен – Рильке, один только Рильке... Она копирует письма австрийского поэта к ней для Пастернака, чтобы он читал и облизывался – как ее любят! Гений любит. А гений болен и предупреждает Марину, что, возможно, скоро не сможет продолжать переписку. Она поняла это как отказ. И оскорбилась. В утешение вспомнила о Пастернаке, написав ему, как мысленно разговаривает с ним и только с ним. Он рад и ему начинает казаться, что все – это невнимание к нему со стороны обоих поэтов – лишь недоразумение. Так когда приехать? А Женю все-таки больше люблю – это о жене. У Цветаевой: как так? ОНА и его жена!.. В общем, если бы Пастернак не был так наивен, открыт и влюбчив, он бы спокойно наладил контакт с Рильке и один переписывался с ним. Без знакомства с творчеством Цветаевой.

Борхес считал, что писателя всегда мучает мысль о гениальности. А мне кажется, его страшит другое: возможная напрасность своих усилий. А главное - он боится их жутких последствий. Боится осмеяния – не кратковременного, то есть не сейчас, не современниками осмеяния – что они понимают! – а потомками осмеяния. Этот смех, как эхо, будет расходиться в веках. Вот от чего бросает в дрожь авторов. Пугает пренебрежение, которого на себе почувствовать не успеешь.

Когда хоронили Пушкина, Петр Вяземский бросил в гроб друга свою перчатку. А вторую положил по стеклу вместе с другими подарками, преподнесенными вдовой поэта. Что значит этот жест князя? Особенно своя же перчатка под стеклом? Мне показалось, что это жест в Вечность. Попытка присоединиться к бессмертию Пушкина, стать с ним *по ту сторону*, рядом с гением и вне Бытия, перед Богом, в конце концов, а заодно и перед лицом потомства, которое узнает об этом жесте благодаря второй перчатке под стеклом. В конечном счете, все знаменитые люди не доверяют памяти следующих поколений. Отсюда излишняя суэта, немного пафосная жестикуляция.

Перчатка, схороненная вместе с Пушкиным, имеет еще одно значение, первым приходящее на ум благодаря своей трафаретности: «Вот, друг, моя рука!» Или: «Я всегда с тобой!». Есть тут что-то комическое и наверняка уже бывавшее в мировой литературе.

О Вяземском есть у Лидии Гинзбург. Она же писала о жестах, но, скорее, как о социальном явлении, а не культурологическом. Жест дворянина, крестьянина и т.д.

По ТВ – документальный фильм об Э.М. Ремарке и М. Дитрих. Он страдал затяжными депрессиями, много пил своего кальвадоса, был очень одинок. И еще – он уже автор романа «На Западном фронте – без перемен». Дитрих он любил почти всю жизнь, вымаливая то преданность, то жалость, то брак, то пачку своих писем. В ней же – слезливой к неразродившейся коровке, безжалостность к Ремарку, его мукам, его тоске. Сюсюканье и – дидактичное молчание.

Чтобы описать такое состояние, не нужны прилагательные. Вещи лучше всего говорят о любви.

Прочитала сейчас в предисловии к «Тропику рака», что Генри Миллер в этом романе – не тот Генри Миллер, который написал книгу. А в «Благостном распятии»? Иногда я представляю разговор с Миллером. Что я спрошу у него?

- А Мона? Она была?

Миллер, уже стареющий, очкастый – мелкие круглые диоптрии горят на свету и скрадывают зрачки маленьких умных глазок – мотает головой. Губы его, яркие и влажные, плотно сжаты. Но щеки уже смеются. Миллер сжимает рот, чтобы не прыснуть.

- Да ну!.. Вы шутите? Нет, нет... - Я не верю.

Он явно доволен. И смотрит на меня искоса, в дужку очков, мягко, как на человека, которого хорошо знает. Он, автор «Биг Сура», давно перезнакомился с нами, своими дотошными читателями, и вопрос о Моне слышит не впервые. И потому молчит. Он все сказал.

А я не жду объяснений. Я понимаю.

На самом деле, Мона была в жизни Миллера. Она и вправду достала денег на поездку в Европу. Но, вопреки ее уверениям в «Нексусе», не поехала вместе с Генри. Мона взяла деньги у Папочки и отправила мужа во Францию. Сама же осталась в Америке и, как пишет Миллер в «Тропике рака», болела и голодала там. И все время обещала приехать. Что было дальше с Моной, я не знаю. В «Черной весне» ее имя ни разу не упоминается. А «Тропик Козерога» еще не читала.

Миллер поражает легкостью повествования. Он не строит сюжет, он знает, что роман, будучи отражением жизни, должен показать и самое главное – что в судьбе человека не так много захватывающих дух поворотов. Жизнь – не вираж, не серпантин с отвесным склоном. В ней все неспешно. Судьба человека, его предназначение на земле очерчивается так же медленно, словно вся она – пазлы, собрав которые, увидишь ровную небесную лазурь с немногими белыми облачками или заплатами тучек, идущими из-за горизонта. И только внизу, далеко, далеко, близко к земле – можно различить склон горы

с маленькой едва движущейся точкой. Эта точка и есть человек. И лишь опытный глаз художника, знающего все полутона одного не самого яркого цвета, может увидеть перемены и повороты, очередной виток однообразно ведущего вверх серпантина. И только он, автор, может позволить себе наводить диоптрии и разглядывать в деталях эту точку, имя которой придумал сам. Наблюдение со стороны, а иногда и как будто изнутри ситуации или души человека, – и есть повествование в романах Миллера.

Сетевая литература в целом скучна. Читаю авторов и чувствую пустоту. Почему, когда беру в руки письма Пушкина или роман Набокова, мысли одна за другой скачут между авторских строк и мешают сосредоточиться – так скачут, что бросаешь книгу и бежишь к ноутбуку?

Сетевая литература, наоборот, высасывает последнюю энергию, она провоцирует апатию и раздражение, становишься равнодушным к слову, к труду, к себе. Такое ощущение, что открывать нечего и сказать нового тоже никогда не сможешь. Да и что такого сказать? Этим же вопросом задавался и Миллер. Он ответ нашел. В «Нексусе» пишет, что закончив роман для Папочки, понял, что не хочет писать о вымышленных людях, что его собственная жизнь и есть основной круг его литературных интересов. Его «Я» и стало главным литературным героем. То же с Буковски, отчасти с Довлатовым.

Я заметила, что все с большим удовольствием сажусь за эти записки. Мне нравится, как постепенно вырисовывается моя физиономия. Я не ставила перед собой цель раскрыться со всеми душевными трясками - не хочу перелистывать их потом, когда стану счастливее и спокойнее – мне лишь иногда тяжело бывает удерживать внутри себя сомнения по поводу моих творческих поисков и вообще путей, которых не ведаю. И дневник, видимо, помогает вовремя отрефлексироваться (как сказал бы Чарльз Буковски, «проблеваться»), раскидать по полкам кое-какие идеи и – все. Чего еще надо?

Сегодня по ТВ во «Встречах на Моховой» был Евтушенко. Он сказал: «Современная молодежь считает, что она никому ничего не должна. Даже своим современникам, погибшим в Афгане и в Чечне. Она живет так, как хочет жить. Никакой гражданской позиции у молодых литераторов нет». И еще: «Мы давно ждем большую книгу. Мы уже устали ждать ее, а ее все нет и нет...»

Мое поколение с удовольствием покорило идеалам, не требовавшим от него никаких усилий. То-то Омар Хайям не залеживается на книжных полках! Вино, любовь, Эпикур и пр. И никому ничего мы не должны. Мы поколение, отдыхающее на развалинах старой страны, которую построили наши деды и родители. И почему-то считаем, что имеем право оставаться равнодушными, насмешливыми и алчными. Мы жадны до всего того, что не имели наши предки. Мы проедаем и пропиваем то, что, как нам кажется, не успели проесть и пропить они.

Заглянула в дневники Аркадия Гайдара. Свою «Военную тайну», в том числе сказку про Мальчиша-Кибальчиша он написал в Хабаровске и, судя по всему, был в Биробиджане. Целый год жил на Дальнем Востоке, много путешествовал по его территориям, был в тайге, на озере Ханка и во Владивостоке. Лежал в больнице Хабаровска, о которой, если не считать удовлетворенности написанными строками о Мальчише, у него остались дурные воспоминания. Да и сам город не понравился: так, перевалочная база – одни приезженцы, другие – отъезженцы. О нашем городе всего строка: «Разговаривали с Титовым – об Амуре и Биробиджане...» Поставил многоточие. Ленивый до крайности по части дневниковых записей.

Потом жалел, что не написал подробно о своем путешествии на Дальний Восток. Можно, конечно, оправдать Гайдара: он много работал над двумя книгами, иногда в день успевал написать до 12 страниц текста. Не перечитывал подолгу.

Трудился разъездным корреспондентом и даже на какой-то завод успел устроиться, где и нашли потерявшие своего сотрудника коллеги-журналисты.

Итак, Гайдар о Биробиджане писал в 1932 году. Где найти подробности? Был ли он в городе, который еще не построили, или только проезжал, например, на поезде № 1 «Владивосток-Москва»?

Нашла строчку о «Дальсельмаше», четырех сопках, тонкой линии железной дороги и «непонятных» стройках. Тоже о Биробиджане?

Четыре раза была в тисовой роще на острове Петрова в Лазовском заповеднике и всегда наслаждалась тремя вещами: природой, людьми, которые приехали сюда на семинар, и возможностью интенсивно думать.

Раньше я не замечала преддверья тисовой рощи. Оказывается, вход в нее похож на низкий свод, оплетенный лианами дикого винограда. Зайти в него – только нагнувшись, склонив голову. Поклонился, убрал глаза к земле и когда выпрямился во весь рост, - ахнул, потому что картина поменялась совершенно. Это уже не роща, а готический храм со всеми его контрфорсами – ветвями остроконечного тиса и даже витражами – скудными потоками дневного света. И здесь всегда тихо. Ни чаек, ни прибой. И шаги уходят в плотный сырой дерн. Остатки каменных укреплений, сооруженных морскими разбойниками 10 веков назад, обрамляют тисовую аллею, высаженную в несколько рядов, последний из которых поднимается по низкому склону сопки. Остров-кит высок и на самом деле вовсе не кит, а четырехугольник с откусанной стороной.

Как всегда, мне было холодно прикасаться к тисам. От их тысячелетней древности, от крепких, как кость воина, кровяных стволов веет равнодушием, мыслью, которая не дает себя понять человеку постороннему. Тис забирает. И всегда помногу, ничем не оправдывая свою жадность. Тис молчит. Все-таки лучше прижаться к пробковой коре амурского бархата и липы. Прикоснуться к бархату – значит согреться, обрести чувство опоры, вернуть думу. Он, как родной отец с шершавой щекой. А липа, как мать, – она широка в обхвате и давно пристрастилась к холодным благородным тисам: откровенно льнет к ним, не желая оставаться чужой: «И я, и я, и я...» - страстно шепчет она, оплетая кости спящего воина.

Я не умею в силу душевной «недовоспитанности» говорить о некоторых вещах прямо и без кислоты, и вдруг представила, что отвечаю не я, а человек более опытный, мудрый, к тому же писатель (они мои лучшие и самые понятные друзья, скрытое от всех Альтер-эго!). И вот что я сказала бы собеседнику: «Писатель обычно одинок не только потому, что вынужден много думать, наблюдать и работать. Есть немало профессий, требующих уединения. Проблема писателя в том, что он, настоящий, талантливый, в своем труде обязан всегда оставаться самим собой, быть откровенным до стеснения и мурашек по коже, его душа разложена перед его пытливым и холодным взором, словно это шкура и нутро животного. Только так и пишется правда. И опять же дело не в том, что наблюдать свою душу лучше одному – преступник иногда более откровенен на следствии, - не в этом! Разложенная душа должна всегда оставаться той, которая и есть сам писатель. А чтобы сохранить ее чистоту – не бывает настоящих художников-лицемеров и подлецов! – такой человек вынужден всю жизнь отказываться от компромиссов, от конформизма, от лжи перед самим собой. Он хранит верность себе. При том, что никогда не безгрешен. Грех – еще одна сторона самоедства и исследований. Но есть грехи, при которых работать невозможно. Не может настоящий писатель делать карьеру, которая противоречит его понятиям о чести, не может жить в браке или состоять в интимных отношениях с теми, от кого его коробит. Нет среди его друзей тех, кто ему лично неприятен. И не пойдет он к издателю на поклон, если считает его подлецом. И не может он оставаться в кругу

близких, если они не приемлют труда художника. Быть изгоем – вот что чаще всего остается таким людям, особенно если при жизни нет признания, нет славы и богатства».

Вот что почему-то хотела я сказать однажды, да, конечно, так никогда не скажу. Я поняла это, когда немного пообщалась с одним коллегой. Это уже немолодой мужчина, музыкант, осознающий почему-то свое нравственное превосходство над большинством. Его показная интеллигентность с этим самым геном интеллекта – китайская лирика, Шопен, вдохновение, отказ от семьи и социума в момент творческого экстаза – все это такая ерунда. Мне стало противно. И не столько он, сколько я сама. Гляжу, как в зеркало. Не дай Бог до такого снобизма и кислоты в выражении губ докатиться! Восторженность, смешанная с презрительностью и легкой, на всякий случай учливой полуусмешкой, снисходительность и желание всех удивить и найти «родственную душу» в толпе...

Читала как-то начало рассказа одной хорошей и талантливой журналистки. Фабула замечательная, некоторые образы – тоже. Но эмоции – эмоции хлещут и заливают все зачатки идей. И тогда я поняла, что если повествование идет от первого лица, то есть от рассказчика, не нужно все объяснять и лезть в душу читателя со своими переживаниями. В наших чувствах много банального. Все люди боятся, любопытствуют, верят и так далее. Пусть все так. Но говорить об этом не надо. Задача писателя, как и хорошего журналиста, – не рассказать, а показать. Для того и существует литература и живопись.

«Три года» Чехова. У чеховской героини к ее Алексею любви не было, а потом, спустя три года, произошло то, что когда-то называли «воспитанием чувств». Любовь не всегда бывает, как талант – ее, красивую, глубокую, надо вытрудить. Готовой любви, на самом деле, не бывает даже у тех, кто влюблен с первого взгляда. Просто им дана фора – может быть, как более слабым и неумелым, а, может, как более счастливым. Остальным – бездарным на внезапность и впечатлительность или более сильным и выносливым – остается другое, более серьезное: вживаться в человека, в совместную судьбу. Так же и с Юлей. Несмотря на внешнюю скучность жизни, на деградацию дела, которым занимались купцы Лаптевы, в душе ее шел другой процесс. Общие радости и горе, смерть дочери, воспитание чужих детей, радости и заботы близких и друзей – все это привязало Юлю к мужу крепче всякой яркой влюбленности.

Убеждаюсь в том, что бесполезно давать много свободного времени человеку, привыкшему заниматься любимым делом между основным трудом, то есть урывками. Сколько такого ленивца не корми, он все равно дождетя часа, когда его завалит неотложным делом и тогда он, вдруг истомившись, примется за «свое», казалось бы, отложенное до лучшей поры, занятие.

В этой тине, понятное дело, вряд ли может родиться сюжетный рассказ, динамика и яркие образы. В моих скромных опытах нет места широкой реке с ее перекатами и излучинами, с ее опасной игрой. Есть тихая заболоченная местность с немногими достопримечательностями, вряд ли интересными читателю. И годами ничего не происходит! Может, поэтому сейчас я пишу в основном о своей семье – в ней не может быть скучного по определению.

Лето выдалось засушливое и скучноватое (по мнению тех, кто меня окружает). Ничего не могу сказать о последнем, потому что живу другими радостями. О веселом, живом, запоминающемся лете могли поведать только люди с Петровского побережья. Но в этом году я не услышу их... Прохладные тисы, шум прибоя, карканье гадателей воронов, всенощная гитара, разговоры, разговоры – все остается в снах и воспоминаниях.

Читаю, вернее, перечитываю Лидию Гинзбург. В своих записях Лидия Яковлевна так же боится оставаться всего лишь женщиной, как и я. Она, конечно же, хотела большего – долгой, изнуряющей письменной работы в духе чисто мужского отстранения от повседневности. Гинзбург – человек за письменным столом. Она хотела работать, как Толстой в своем кабинете, куда нельзя было входить ни жене, ни детям до полудня. Таков образ, созданный ею и, если мы, читатели, видим кое-что еще между строк, это все-таки наши домыслы.

Интересно, как время и пространство выкристаллизовывают прошлое. Как ни парадоксально, чем оно ближе, недавнее, тем размытее и непонятнее, но проходят год, два, и события последних лет, их соль и суть разрастаются рельефами и узорами. Причем, обозначается только самое существенное, характерное. Все остальное замывается и расплывается, как акварель на мокрой бумаге. Аля-прима – вот в какой технике работает время, когда надо забыть самое посредственное. И как память «по-ван-гоговски» пастозна, если какие-то моменты прошлого богаты на события и людей!

Ветви деревьев ярко-черные или жженой сиены, листва же – от лимонного кадмия до краплака. Особенно красиво: черный сырой ствол, ветки и – темно-желтые листья, словно писанные жирной кистью. Земля тоже жирная, дышащая, как пожилая женщина с толстой шеей.

Прав друг Кафки Макс Брод, утверждавший, что некоторые тексты Франца напоминают желе. И точно, даже в дневниках начала периодов у Кафки если и стоят на месте и не расплываются в глазах, то тем дальше, тем сильнее, словно яблочный пудинг, дрожит каждая фраза в длиннейших сложноподчиненных предложениях, и к концу периода совсем не укладывается в сознании. Отсюда беглость чтения его текстов – не в силу легкости их восприятия и быстрого укладывания на полочки разума и памяти, а, наоборот, из-за невозможности это сделать, даже прилагая серьезные усилия. А в целом Кафка мне очень нравится в своих размышлениях и дроблениях многих цельностей на многие частности. Анализ Кафки своих писательских состояний и временных приступов творческой беспомощности детален и точен, насколько это возможно вообще выразить в слове.

Оказывается, он питал такое же пристрастие к чтению дневников, автобиографий и воспоминаний, как и я. Как и многие, впрочем. В жизни был нелюдим и ненавидел все, не связанное с литературой.

Купила два романа – «Цена отсечения» А. Архангельского и «Матисс» А. Иличевского. Второй после беглого знакомства в автобусе понравился больше. Когда автор занимается только писательской деятельностью и не тратит время на журналистику и работу на ТВ, он более требователен к себе, дольше оттачивает стиль и тщательнее чистит текст. У Иличевского это заметно, Архангельский, при всем моем уважении, еще сыроват. Так мне пока видится.

Закончила читать Архангельского. Внешне похожий на одного из женихов Пенелопы (так он мне видится давно), он всегда, наверное, пытался отойти от образа симпатичного пай-мальчика с интеллигентскими замашками. Оставаясь таковым во многом, Архангельский все-таки ушел в сторону: да, он развит всесторонне, то есть не всегда «там, где надо», не боится человеческой «физики» и вовсе не скрывает своей симпатии к «хозяевам жизни». В нем нет намеренной и брезгливой отчужденности, типичной для многих писателей и ученых, от реалий современного мира, от его небиблейской суетности, меркантильности и мелочности. Он такой же, как все, но добрый и умный малый. Он москвич и что тут еще скажешь?

Читаю Е. Гинзбург «Крутой маршрут». Не знаю почему, но мне сейчас импонирует такое чтение – выживание советской женщины, имеющей двух детей, в условиях одиночной тюрьмы, а потом - каторги на Колыме. Просто пытаюсь представить, насколько у интеллигентной дамы, педагога по образованию, и журналиста и писателя по призванию, с неслабым здоровьем, может хватить сил не только физически выжить, но и не растерять себя духовно. А еще и – что почти главное! – сохранить в себе способность все видеть, анализировать и запоминать, чтобы потом – и знать, что это «потом» наступит! – написать, рассказать людям правду об ужасах репрессий. Я часто думала, порой часами лежа с Лидочкой и выработывая молоко в первые месяцы кормления, что образованного человека не страшно оставить наедине с самим собой, без книг, общения и телевизора. В его голове достаточно образов, как зрительных, так и словесных, чтобы не скучать никогда. А у Гинзбург еще и уникальная память – она знала наизусть всего «Евгения Онегина», некоторые поэмы Пушкина и много других произведений классиков. В одиночной камере и в карцере Гинзбург мысленно перечитывала все это и сочиняла сама. Сочиняла в уме и – мысленно же - переводила все это на иностранные языки. Кое-что ей удавалось записывать, но эти тетради потом отбирались.

А вот и зима и спокойное отвлеченное от творческих амбиций настроение.

Мне 35 лет, и я ощущаю старение своего лица и образа жизни. И то, и другое меня не устраивает, потому что я наивно верю в то, что между моими воспоминаниями о последних годах жизни и сегодняшним вечером нет большой разницы.

Но чем больше я об этом думаю, тем лучше понимаю, что она велика. Инфантильности во мне не осталось, и, как всякий советский человек, рожденный в 70-е, я иногда оплакиваю ее как самый родной и близкий мне образ...

Но - сколько холодных зим, сколько лет, проведенных в тени прохладных тисов!..